

Другой зверь, наверное, тронулся бы самоотверженностью зайца, не ограничился бы обещанием, а сейчас бы помиловал. Но из всех хищников, водящихся в умеренном и северном климатах, волк всего менее доступен великодушью.



Однако ж не по своей воле он так жесток, а потому, что комплекция у него каверзная: ничего он, кроме мясного, есть не может. А чтобы достать мясную пищу, он не может иначе поступать, как живое существо жизни лишить. Одним словом, обязывается учинить злодейство, разбой.

Не легко ему пропитание его достается. Смерть-то ведь никому не сладка, а он именно только со смертью ко всякому лезет. Поэтому кто посильнее - сам от него обороняется, а иного, который сам защититься не может, другие обороняют. Частенько-таки волк голодный ходит, да еще с помятыми боками вдобавок. Сядет он в ту пору, поднимет рыло кверху и так пронзительно воет, что на версту кругом у всякой живой твари, от страха да от тоски, душа в пятки уходит. А волчиха его еще тоскливее подвывает, потому что у нее волчата, а накормить их нечем.

Нет того зверя на свете, который не ненавидел бы волка, не проклинал бы его. Стоном стонет весь лес при его появлении: "Проклятый волк! убийца! душегуб!" И бежит он вперед да вперед, голову повернуть не смеет, а вдогонку ему: "Разбойник! живорез!" Уволок волк, с месяц тому назад, у бабы овцу - баба-то и о сю пору слез не осушила: "Проклятый волк! душегуб!" А у него с тех пор маковой росинки в пасти не было: овцу-то сожрал, а другую зарезать не пришлось... И баба воет, и он воет... как тут разберешь!

Говорят, что волк мужика обездоливает; да ведь и мужик тоже, как обозлится, куда лют бывает! И дубьем-то он его бьет, и из ружья в него палит, и волчьи ямы роет, и капканы ставит, и облавы на него устраивает. "Душегуб! разбойник! - только и раздается про волка в деревнях, - последнюю корову зарезал! остатнюю овцу уволок!" А чем он виноват, коли иначе ему прожить на свете нельзя?

И убьешь-то его, так проку от него нет. Мясо - негодное, шкура жесткая - не греет. Только и корысти-то, что вдоволь над ним, проклятым, натешись, да на вилы живьем поднимешь: пускай, гадина, капля по капле кровью исходит!

Не может волк, не лишая живота, на свете прожить - вот в чем его беда! Но ведь он этого не понимает. Если его злодеем зовут, так ведь и он зовет злодеями тех, которые его преследуют, увечат, убивают. Разве он понимает, что своею жизнью другим жизням вред наносит? Он думает, что живет - только и всего. Лошадь - тяжести возит, корова - дает молоко, овца - волну, а он - разбойничает, убивает. И лошадь, и корова, и овца, и волк - все "живут", каждый по-своему.

И вот нашелся, однако ж, между волками один, который долгие веки все убивал да разбойничал, и вдруг, под старость, догадываться начал, что есть в его жизни что-то неладное.

Жил этот волк смолоду очень шибко и был одним из немногих хищников, который почти никогда не голодал. И день, и ночь он разбойничал, и все ему с рук сходило. У пастухов из-под носу баранов утаскивал; во дворы по деревням забирался; коров резал; лесника однажды до смерти загрыз; мальчика маленького, у всех на глазах, с улицы в лес унес. Слыхал он, что его за эти дела все ненавидят и клянут, да только лютей и лютей от этих покров становился.

- Послушали бы, что в лесу-то делается, - говорил он, - нет той минуты, чтоб там убийства не было, чтоб какая-нибудь зверюга не верещала, с жизнью расставаясь, - так неужто ж на это смотреть?

И дожил он таким родом, промежду разбоев, до тех лет, когда волк уж "матерым" называется. Отяжелел маленько, но разбои все-таки не оставил; напротив, словно бы даже полютел. Только и попадись он нечаянно в лапы к медведю. А медведи волков не любят, потому что и на них волки шайками нападают, и частенько-таки слухи по лесу ходят, что там-то и там-то Михайло Иваныч оплошал: в клочки серые вороги шубу ему разорвали.

Держит медведь волка в лапах и думает: "Что мне с ним, с подлецом делать? ежели съест - с души сопрёт, ежели так задавить да бросить - только лес запахом его падали заразишь. Дай, посмотрю: может быть, у него совесть есть. Коли есть совесть, да поклянется он вперед не разбойничать - я его отпущу".

- Волк, а волк! - молвил Топтыгин, - неужто у тебя совести нет?

- Ах, что вы, ваше степенство! - ответил волк, - разве можно хоть один день на свете без совести прожить!

- Стало быть, можно, коли ты живешь. Подумай: каждый божий день только и вестей про тебя, что ты или шкуру содрал, или зарезал - разве это на совесть похоже?

- Ваше степенство! позвольте вам доложить! должен ли я пить-есть, волчиху свою накормить, волчат воспитать? какую вы на этот счет резолюцию изволите положить?

Подумал-подумал Михайло Иваныч, - видит: коли положено волку на свете быть, стало быть, и прокормить он себя право имеет.

- Должен, - говорит.

- А ведь я, кроме мясного, - ни-ни! Вот хоть бы ваше степенство, к примеру, взять: вы и малинкой полакомитесь, и медком от пчел позаимствуетесь, и овсеца пососете, а для меня ничего этого хоть бы не было! Да опять же и другая вольгота у вашего степенства есть: зимой, как заляжете вы в берлогу, ничего вам, кроме собственной лапы, не требуется. А я и зиму, и лето - нет той минуты, чтобы я о пище не думал! И все об мясе. Так каким же родом я эту пищу добуду, коли прежде не зарежу или не задушю?

Задумался медведь над этими волчьими словами, однако все еще попытать хочет.

- Да ты бы, - говорит, - хоть полегче, что ли...

- Я и то, ваше степенство, сколько могу, облегчаю. Лисица - та зудит: рванет раз - и отскочит, потом опять рванет - и опять отскочит... А я прямо за горло хватаю - шабаш!

Еще пуще задумался медведь. Видит, что волк ему правду-матку режет, а отпустить его все еще опасается: сейчас он опять за разбойные дела примется.

- Раскайся, волк! - говорит.

- Не в чем мне, ваше степенство, каяться. Никто своей жизни не враг, и я в том числе; так в чем же тут моя вина?

- Да ты хоть пообещай!

- И обещать, ваше степенство, не могу. Вот лиса - та вам что хотите обещает, а я - не могу.

Что делать? Подумал, подумал медведь, да наконец и решил.

- Пренесчастнейший ты есть зверь - вот что я тебе скажу! - молвил он волку. - Не могу я тебя судить, хоть и знаю, что много беру на душу греха, отпуская тебя. Одно могу прибавить: на твоём месте я не только бы жизнью не дорожил, а за благо бы смерть для себя почитал! И ты над этими моими словами подумай!

И отпустил волка на все четыре стороны.

Освободился волк из медвежьих лап и сейчас опять за старое ремесло принялся. Стонет от него лес, да и шабаш. Повалился в одну и ту же деревню; в две, в три ночи целое стадо зря перерезал - и ништо ему. Заляжет с сытым брюхом в болоте, потягивается да глаза жмурит. Даже на медведя, своего благодетеля, войной пошел, да тот, по счастью, вовремя спохватился да только лапой ему издали погрозил.

Долго ли, коротко ли он так буйствовал, однако и к нему наконец старость пришла. Силы убавились, проворство пропало, да вдобавок мужичок ему спинной хребет поленом перешиб; хоть и отлежался он, а все-таки уж на прежнего удальца-живореза не похож стал. Кинется вдогонку за зайцем - а ног-то уж нет. Подойдет к лесной опушке, овечку из стада попробует унести - а собаки так и скачут-заливаются. Подождет он хвост, да и бежит с пустом.

- Никак, я уж и собак бояться стал? - спрашивает он себя.

Воротится в логово и начнет выть. Сова в лесу рыдает, да он в болоте воет - страсти господни, какой поднимется в деревне переполох!

Только промыслил он однажды ягненок и волочет его за шиворот в лес. А ягненок-то самый еще несмысленочек был: волочет его волк, а он не понимает. Только одно твердит: "Что такое? что такое?.."

- А я вот покажу тебе, что такое... мммерррза-вещ! - остервенился волк.

- Дяденька! я в лес гулять не хочу! я к маме хочу! не буду я, дяденька, не буду! - вдруг догадался ягненок и не то заблеял, не то зарыдал, - ах, пастушок, пастушок! ах, собачки! собачки!

Остановился волк и прислушивается. Много он на своем веку овец перерезал, и все они какие-то равнодушные были. Не успеет ее волк ухватить, а она уж и глаза зажмурила, лежит, не шелохнется, словно натуральную повинность исправляет. А вот и малыш - а поди как плачет: хочется ему жить! Ах, видно, и всем эта распостылая жизнь сладка! Вот и он, волк, - стар-стар, а все бы годков еще с сотенку пожил!

И припомнились ему тут слова Топтыгина: "На твоём бы месте я не жизнь, а смерть за благо для себя почитал..." Отчего так? Почему для всех других земных тварей жизнь - благо, а для него она - проклятие и позор?

И, не дождавшись ответа, выпустил из пасти ягненка, а сам побрел, опустив хвост, в логово, чтобы там на досуге умом раскинуть.

Но ничего ему этот ум не выяснил, кроме того, что он уж давно знал, а именно: что никак ему, волку, иначе прожить нельзя, как убийством и разбоем.

Лег он плашмя на землю и никак улежать не может. Ум - одно говорит, а нутро - чем-то другим загорается. Недуги, что ли, его ослабили, старость ли в разор разорила, голод ли измучил, только не может он прежней власти над собой взять. Так и гремит у него в ушах: "Проклятый! душегуб!

живорез!" Что ж в том, что он за собой вольной вины не знает? ведь проклятий-то все-таки не заглушишь! Ох, видно, правду сказал медведь: только и остается, что руки на себя наложить!

Так ведь и тут опять горе: зверь - ведь он даже рук на себя наложить не умеет. Ничего сам собой зверь не может: ни порядка жизни изменить, ни умереть. Живет он словно во сне, и умрет - словно во сне же. Может быть, его псы растерзают или мужик подстрелит; так и тут он только захрапит да корчей его на мгновенье сведет - и дух вон. А откуда и как пришла смерть - он и не догадается.

Вот разве голодом он себя изведет... Нынче он уж и за зайцами гоняться перестал, только около птиц ходит. Поймает молодую ворону или витютня - только этим и сыт. Так даже и тут прочие витютни хором кричат: "Проклятый! проклятый! проклятый!"

Именно проклятый. Ну, как-таки только затем жить, чтобы убивать и разбойничать? Положим, несправедливо его проклинают, нерезонно: не своей волей он разбойничает, - но как не проклинать! Сколько он зверья на своем веку погубил! сколько баб, мужиков обездолил, на всю жизнь несчастными сделал!

Много лет он в этих мыслях промучился; только одно слово в ушах его и гремело: "Проклятый! проклятый! проклятый!" Да и сам себе он все чаще и чаще повторял: "Именно проклятый! проклятый и есть; душегуб, живорез!" И все-таки, мучимый голодом, шел на добычу, душил, рвал и терзал...

И начал он звать смерть. "Смерть! смерть! хоть бы ты освободила от меня зверей, мужиков и птиц! Хоть бы ты освободила меня от самого себя!" - день и ночь выл он, на небо глядячи. А звери и мужики, слыша его вой, в страхе вопили: "Душегуб! душегуб! душегуб!" Даже небу пожаловаться он не мог без того, чтоб проклятья на него со всех сторон не сыпались.

Наконец смерть сжалилась-таки над ним. Появились в той местности "лукаши" ["Лукаши" - мужички из Великолуцкого уезда Псковской губернии, которые занимаются изучением привычек и нравов лесных зверей и потом предлагают охотникам свои услуги для облав. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)] и соседние помещики воспользовались их прибытием, чтоб устроить на волка охоту. Лежит однажды волк в своем логове и слышит - зовут. Он встал и пошел. Видит: впереди путь вехами означен, а сзади и сбоку мужики за ним следят. Но он уже не пытался прорваться, а шел, опустив голову, навстречу смерти...

И вдруг его ударило прямо между глаз.

- Вот она... смерть-избавительница!